

У МЕНЯ было много встреч с Юрием Карловичем Олешей, и каждая встреча оставалась у меня в памяти надолго, а иные — и на всю жизнь.

Об одной из этих встреч я расскажу сейчас. Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, сошел с грузовика около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили свои южные белые дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с перекраской домов, носившее звонкое имя «камуфляжа», оказалось бесполезным. Лето выдалось грозное. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и, вместе с тем, совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала зловещая черная вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме перероба капель по железным крышам. Пожалуй, только запах насквозь промоченной листвы акаций напоминал недавние летние дни. Но эти дни, казалось, навсегда канули в вечность.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с лица земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, внезапно изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Может быть, от этого чуждого воздуха, от помертвевших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное свое одиночество, будто я вернулся в Одессу, когда она уже давно и начисто вымерла.

Поэтому я с облегчением увидел в сумрачном вестибюле гостиницы старого небритого человека в мятой рубашке и лиловых подтяжках.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма. Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синеватый угар зависал над пламенем, как кудель.

— Вы портё? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос, — рассердился старик. — В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить даже в двух номерах. Или в трех. И при этом — совершенно бесплатно. Гратис!

Старик сказал старомодное слово кущов и коминвоажеров; слово «гратис», означавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Бесплатно потому, — объяснил мне старик, — что платить некому. Трест эвакуировали. А я здесь вместо сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как в коридорах позванивают битые стекла.

— Как нет?! — воскликнул старик. — А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— А где же ему быть, скажите, как не в Одессе? Теперь на Одессу навалилась беда. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, уточкины, шикарные женщины, ффраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю еще кто! Тогда Олеша был тут. И теперь он тоже тут. Он — чистый одессит, вы понимаете? Сейчас он лежит в номере, один. После болезни. Каждый раз, когда начинается воздушная тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его спуститься в убежище. Но он ни за что не спускается, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич, — говорит он, — поглядывайте, чтобы во время бомбежки немцы не побили телефоны, которые я описал в своей сказке «Три Толстяка». Что я могу ответить. И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, так я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу».

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ, — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, пронзительно, с доброй усмешкой и, как всегда, были готовы тотчас загореться легким огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, неожиданных и метких сопоставлений. Он начинал говорить, и жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Блеском его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и действительно так), что Юрий Карлович всю жизнь беседовал про себя с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудачками.

Спорил он смело и превосходно.

Свои возражения он вонзал в собеседника быстро и победоносно.

Вокруг Олеша существовала особая жизнь, отобранная им самим из окружающей его действительности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

Олеша был непрерывно влюблен в жизнь. Реальность была освещена отблеском каких-то своих внутренних праздников.

В Олеше было что-то бетховенское, мощное, даже в его голосе. Его глаза находили вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслышанно сильными, а четыре слова — уже вода.

В углу гостиничной комнаты стояла самодельная палка. На ее крючковатом набалдашнике висела

деть. Часто не замечаешь, что ты — его свидетель. Пойдемте, походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старую, ни перед чем не сдающуюся Одессу.

Мы вышли. Прозрачный, будто много раз пропеченный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гудко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеша, еще доживала последние часы чайная, где давали настоящую молдавскую брынзу. Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пушечную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

— Подчинимся, — сказал Олеша. — Поверим, что бомбы падают только с фасадов.

Мы вошли в первый же двор. Те, кто не был в Одессе, могут представить эти греческие дворы с чужих слов, но никогда не поймут, в чем их прелесть. Надо увидеть такой двор или пожить в нем хоть несколько дней, чтобы это понять.

Сухое описание вряд ли что-нибудь даст читателю. Но все же я попробую описать эти дворы.

Прежде всего — это прямоугольные внутренние дворы, окруженные со всех сторон старым двухэтажным домом. Единственный выход из этих дворов — подворотня на улицу. Все комнаты и квартиры из обеих этажей выходят на старые деревянные террасы и такие же деревянные лестницы.

Террасы тянутся вдоль стен дома, шатаются и скрипят. Они служат прямым и самым оживленным продолжением комнат и квартир.

На террасах жарят на керосинках скумбрию, готовят икру из «синеньких», кулают детей, ссорятся всем домом, стирают белье в пышной пене, гладят, а ночью даже спят «в холодке».

Мы вошли в такой двор. Он был пуст. Немецкие бомбардировщики пикировали с гнусным воем. Где-то вблизи грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы с Олешей стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на ремне. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, вой, свист, щелканье железа о камни двора и пыль. Ее вдувало в подворотню целыми залпами.

Против нас мы увидели крыльцо с дверью в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью: «Зубной врач И. С. Вайнтрауб».

Твердый знак после фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб живет здесь с незапамятных времен, еще до революции.

— Еще до революции, — заметил Олеша. — Это сейчас звучит для нас как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потоп».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними висели черные листья фикуса. Завыл самолет. Загремели, запластывались железными обвалами, взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое, ничем не примечательное зрелище, и я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно раздернул занавески на окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый небритый еврей в спущенных подтяжках и с газетой в руке. Он, должно быть, спал и прикрывал газетой лицо от мух. Взрывы и вой самолетов его разбудили.

Он высунулся в окно, уперся ладонями в подоконник, красными от раздражения склеротическими глазами посмотрел на промахнувшийся низко над двором самолет, крикнул с негодованием: «Что?! Опять!! Босьяки!» — яростно плюнул вслед самолету, — «Тьфу!!» — с треском захлопнул окно и рывком задернул занавески.

Тогда дворник, не просыпавшийся от взрывов, сразу проснулся и, покачав головой, сказал:

— Самый отчаянный мужчина на весь этот двор! Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже темнело.

— Вот видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса!

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже, зацепившись за решетку балкона. Около подъезда стояла нагара скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень чистая кровь.

Над морем тянулся полосами дым. На Пересыпи не то что-то горело, не то всходила луна.

Фонари из «Трех Толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но мне трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть его посмертное прекрасное лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами, нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака, который я видел на нем много лет.

ТАРУСА

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ВСТРЕЧА С ОЛЕШЕЙ

клетчатая кошелка.

— Вот, — сказал Олеша и кивнул на кошелку, — когда придет последний час, я уйду отсюда пешком в Николаев, а потом в Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хоть из школьного атласа. Карты у меня нет.

Я слушал его и засыпал, сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбирать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По коридорам, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, развешивая одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет яичным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину Маковского «Боярский пир», запяленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец, мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Она выходила окнами во внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Это, — сказал Олеша, — будет, пожалуй, самая безопасная комната. Прямо блиндаж.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в старом, будто чешуйчатом стекле открытого окна. Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале знаменитого ресторана при «Лондонской гостинице».

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрустальными, серебром, орхидеями и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках холодили пальцы. Электрические лампочки загорались под вычурным лепным потолком, наполняясь апельсиновым светом. В серебряных ведерках таял лед, и меню было совершенно роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен. Под потолком болезненно светилась единственная синяя лампочка — ее не гасили даже днем. И только два старых, как Одесса, седых официанта в помятых белых куртках бродили по залу, подавая пустой чай и черную скользкую вермишель. Олеша сидел за одиноким столиком с молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет, — сказал мне Олеша. — Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я сказал, что город изменился с начала войны, замер, и одесситы потеряли традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и вялотно. — Си-вый бред. Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие, их пресловутые «хохмы» замешены на бестрашии. Храбрость чахнет и умирает без острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Так же, как скажем, о Диогене.

Я прекрасно понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был только поводом для какой-то острой выдумки.

— Вот, — сказал Олеша, — все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. От бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, конечно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно собирался выбросить старика из бочки за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и знакомым и начинал, краснея, просить: «Дайте, если будет ваша милость, денег на бочку». Боже мой, какой подымался вой и визг! «Деньги на бочку!» «Нахал! Рвач! Циник!».

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы так же мужественны и смешливы сейчас, во время войны, как и всегда. За это время я видел здесь героизм — очень простой, необыкновенно тихий для одесситов с их шумным характером, иногда веселый, иногда торжественный. Его трудно уви-